

Александр
РУЛЁВ-ХАЧАТРЯН

д. Костяевка
Вологодской области

Вместо предисловия

*У человека, как и хлеба, —
длинная дорога.*

Моя бабушка Софья — полька из Белостока, когда затворяла тесто, обязательно его заговаривала: начинала увещательно, мол, хорошенько взойди опарой, не бойся, а заканчивала приговор ясным и открытым голосом, как честный человек перед лицом людей, последними же словами были: «Тшого нема — того нема!» То есть зависти или худых мыслей, неправды или тайных помыслов: чего нет — того нет, а пеку я хлеб с чистой совестью, не ворованный, а трудом заработанный.

Пекись на славу и радость.

Да только этой радости мы видели мало. Дед мой Павел Рулев умер еще в блокаду, вот бабушка Софья сразу после войны и приехала в Казахстан к моим родителям и увезла меня из Джамбулской области в Калининскую — на родину деда. Бабушка Софья не набрала сил выжить — простудилась в поле на колхозной работе. Так вышло, что после ее смерти до Калининской области добралась вторая моя бабушка — армянка. Ее звали Ануш. И увезла меня далеко на берег Аракса в село Кялагарх. Там все для меня было новым: и язык, и люди, и хлеб, и дедушка. Лишь нужда осталась старая.

Второй мой дед Авак Хачатрян носил прозвище Урпатахос, что означает — «человек, говорящий по пятни-



Кухонник
рассказы

цам». Этот ассириец, сколько помню, молчал и по пятницам, а плакал он в своей жизни всего один раз, и я был тому свидетелем вместе с бабушкой Ануш и соседкой, она-то и заметила деда Авака и нас позвала: лежит на потрескавшейся, горячей, как костер, земле, испятнанной обуглившимися ростками пшеницы, распластался ниц и негромко устало плачет. Мы приблизились. Женщины что-то стали говорить, но дедушка только чуть ладонью провёл по земле, а головы так и не поднял. Мы ушли. А вскоре к зиме дед Авак «почил в бозе» — так все говорили, потому что он был священником.

Но постепенно жизнь улучшалась, пошли урожаи, и бабушка все чаще пекла в тундрыре лаваша. Это хлеб пресный, но очень вкусный, как и любой настоящий хлеб.

В особом хлебном доме с утра протапливались круглые глиняные печи, вкопанные за подлицо в земляной пол. Раскатанное до большого листа тесто ловко перекидывается с руки на руку, перелетает, пластаясь по воздуху, делаясь все тоньше, потом натягивается на рафаду — плетеную из ивовых прутьев овальную раму, поверх которой уложен хлопок и обтянут, как подушка, полотном, — затем бабушка ныряет головой в пышущий тундыр и прилепляет тесто к его горячему боку.

Через полминуты первый лаваш извлечен и положен на белое полотно. Тундыр прикрывается крышкой. «Внуче-ек!» — зовет бабушка Ануш.

— Слушаю вас, бабушка.

— Пойди за ворота, посмотри, кто идет.

Я выходил за высокие ворота и всматривался в обе стороны кривой улочки, зажатой глиняными дувалами.

— Никого, — вернувшись, докладывал я бойко.

— Еще раз сходи...

— Идет тетушка Мариам!

— Не годится. Жди мужчину.

— Идет сосед наш, дедушка Андо!

— Очень хорошо. Останови его, поздоровайся и скажи, что бабушка зовет попробовать хлеб — получился ли.

Я в точности выполняю наказ.

— Сейчас буду, внучек, — говорит мне сосед

и велит отправляться во двор. И далее он три раза висячей стукалкой бьет по плашке.

— Внучек, спроси, кого к нам бог послал! — наставляет Ануш.

— Кого нам бог послал? — спрашиваю, стоя за воротницей.

— Я путник, — отвечает дедушка Андо.

— Внучек, а теперь говори так: «Не зайдете ли к нам испробовать свежего хлеба?»

Повторяю слова бабушки, сосед соглашается, после чего я распахиваю воротницу, и дедушка Андо, как неизвестный нам путник, входит и здоровается.

Бабушка на двух руках подносит ему хлеб и просит откусать. Путник строго-благочестиво и в то же время нежно отрывает кусочек, жует, произносит ритуальные слова:

— Семьдесят шесть лет живу на свете, а такого вкусного хлеба не пробовал...

Однажды, сколько я ни высматривал мужчину, никого на дороге не увидел. Все в полях, хоть и рано.

Тогда бабушка сказала так: «Тундыр стынет, а мужчин нет... Стучись сам, внучек».

И я, как положено, три раза ударил стукалкой.

— Кого к нам бог послал?

— Я путник...

Поднесли мне хлеб, я быстренько съел кусочек и сказал:

— Десять лет живу на свете, а такого вкусного хлеба не пробовал.

Помню, бабушка заплакала. И две соседки, пришедшие на помочи печь хлеба, тоже.

А я хотя и был очень серьезен в тот момент, но весел и беспечен в душе своей детской. Однако ничего на свете не проходит даром.

И сегодня, когда я беру в руки хлеб, то невольно думаю — вот уже сколько прожил годов. И что я — путник...

ПЕРВОЕ ДОБРО ЖИЗНИ

*По устным рассказам шофера колхоза «Борец»
Василия Петровича Скуратова*

СЛАДКИЙ ДЕНЬ

Рассказ первый

— Вот жаловались вчера, — обращалась к моим сестренкам мама, — тюрю вам надоела... Зато сегодня полюбуйтесь какой обед: ах, да и только.

— Ах-да, — быстро повторила младшая, Шурка, она уже все повторяла за взрослыми, ей тогда было пять лет.

В сорок четвертом.

Симе — шесть, мне — восемь, я учился и, как сейчас говорят, — работал. У нас в деревне говорили — «ходит». «Уже ходит?» — спрашивали у мамы. «Ходит. На конюшню». И хотя все знали, что восьмилетки и кто постарше «ходят», куда поставил бригадир Егор Егорыч, однако обязательно спрашивали про это. И печально одобрительно кивали черными платками.

Ну, ладно. Значит, вчера ели тюрю: крапива на воде с тертой картофельной шелухой, привезенной на всех с государственной крахмаломойки. Понятно, дети поныли. А сегодня Егор Егорыч выдал мне блестящую плитку жмыха, теплую на ощупь, пахнущую сытой жизнью. Кусмень во взрослую ладонь. Такое счастье привалило в третий раз. Сейчас начало июня, а первый паек Егорыч выдал к майским.

Мама обрадовалась, чего там. Натолкла в крупу, круто заварила, поставила парить. Пахнет жареными семечками, а мама уверяет — и мясом.

— Сюда бы, — мечтает она, раздавая ложки, — сюда бы кружку патоки!

Шурка в этот раз не повторяет за матерью, а радуется молча.

Насчет патоки я слышу каждый день. Толки о ней возникли, когда со станции вернулась председатель Кашина, она и привезла новость, мол, стоит на путях цистерна с патокой, будут делить на колхозы. А как — решается в районе.

Я не знал, что такое патока, как выглядит таинственный «район», но тоже принимал самое бодрое участие в нарастающих с каждым днем разговорах о патоке. Егор Егорыч сказал так: «Патока

вкусная. Даже чересчур». Он, оказывается, пробовал до войны, а потом тоже ел в госпитале после третьего ранения, когда ему ногу отрезали хирурги. «Патоку в госпитале только офицерам давали, ну, летчикам, — разъяснял он, — а мне так, одна сестричка носила, да-да. Я ведь, знаешь, эхма-а. Был. Да-да». На вопрос председательши о том, как он, будучи рядовым, попал в офицерский госпиталь, Егорыч отвечал уклончиво, скороговоркой ссылаясь на особую дружбу с командующим армией. А командующий, все знали, из Козлова за Мишкиным Бором, а козловские на всю округу славились как первостатейные драчуны, что и вселяло в наши мальчишеские сердца полную уверенность в победе над немцами.

Я, помню, запрягал Карая, сваливал или грузил болотный камень (дорогу чинили, потом, говорили, пленные будут строить аэродром), вел поить и купать на Колодинку, а все думы до последней улетали в направлении станции, где цистерна с патокой. Вначале мои мысли отчетливо и бойко скакали по дороге в сторону Раменья, но потом шли врассыпную и терялись в лесах и болотах, потому что я на станции не бывал и мечты о патоке не добирались до железной дороги. И вообще, как позже выяснилось, станция вовсе в другой стороне: за Мишкиным Бором дорога круто сворачивала на юг. Так что повлиять на движение цистерны я не мог — бил мимо. Проект же, развитый с подробностями моим дружкой Ленкой Кириным, а он предлагал: «Эх бы, рельсы проложить по ночам до самой деревни и прикатить всю патоку к нам» — тоже выглядел неосуществимым. Рельс во всей деревне был один, висел у сельсовета, в него колотили при пожаре, на взятие городов нашими войсками, а также если созывалось общее собрание насчет займа или там чего еще общественного: кому пасти. А также косить. Когда и где.

Никогда не забуду, что утром двадцать третьего сентября заколотили в рельс. Ближние сбегались. Мы с урока географии в окна повыскакивали. А у столба мотает головой кляча, стоит чужая телега, на ней черная бочка, у которой внизу медный толстый кран, на ручке под блестящим краном белое ведро. Возле стоит худущий старичок и курит. Докурил. Взял колокол и стал звонить, будто керосин привез. Женщины

сообразили сразу. «По сколько?» — и торопятся по избам за посудой. А мы с Ленкой и ребятами тарачимся в беспокойном ожидании. Тут прихромал на деревяшке Егорыч. «По две литры на избу!» — бойко отвечает ему старик. Почти по-военному, ведь бригадир наш при форме и с медалями. «Бочку будем наклонять», — как знаток патоки всегласно предупредил Егорыч. «Само собой», — деловито согласился старик и утопил колокол в сене перед бочкой. Подошла председательша Кашина, поздоровалась со стариком за руку, а всем наказала: «Прошу в очередь. А ты, Егорыч, фамилии выкликай».

— Скуратовы! — командирским голосом прокричал бригадир.

Мама подошла по истоптанной грязи с кастрюлькой. Лицо у нее сделалось торжественным, а глаза извиняющимися. И вот плотной сверкающей струей обрушилась в мерку коричневая жидкость.

Так пришел сладкий день.

И ушел, как последующие разные другие дни. «Куда?» — спрашивал я себя. Быть может, они шагали чередой по дороге через Раменье на далекую станцию? Сколько их с тех пор уплыло вслед за той ныряющей в ложбинки телегой, укатилось за машинами, за поездами, теплоходами, самолетами? Не сосчитать. Бывал день за год.

В семьдесят девятом нужно было мне заехать за печеньем для нашего сельпо на кондитерскую фабрику в областном центре. Пропустили. Вылезаю из кабины, иду через двор. Тут — котельная, там — склады. И вдруг удивительно знакомый запах повлек меня к ящикам. Пахнуло невероятно далеким, но томительно знакомым временем и местом. Как невидимым течением тянуло меня в ту сторону. Иду осторожно по следу, а за ящиками желтая бочка с нерусскими надписями, весь бок у нее обмят, видно, как хряпнули из кузова, так и бросили, и под ней лужа. Пленкой подзатянуло. Я нагнулся, обмакнул палец: она!

После набрал немного ладонью, вернулся к своему грузовику, сел на подножку и под усталые скрипы остывающей машины весь ушел в себя. И потихонечку побрела моя душа назад в осень сорок четвертого.

А патока оказалась горьковато-сладкой.

КОЛОСКИ-КОЛОСОЧКИ

Рассказ второй

Ну, про колоски написано много. И в художественной литературе, и так, где кучей, где россыпью. Только одно дело — читать про них в отраженном виде на сытое пузо под телевизор, а другое дело, если ты сидишь на лавке подле окошечка и наблюдаешь из избы, чтобы кто ненароком не заглянул и не засек твою родную мать на месте преступления: она поджаривает четыре жмени ржи, натертой из подбранных в сегодняшнюю жатву колосков. На грудях принесла за пазухой. Сестренкам, себе и мне. Короче, мы — воры. На данный божий день.

— Убирай! — кричу. — Егорыч к нам!

Мама пристанывает и чуть не с плачем хватает сковороду с огня и прячет на лежанке под кожу. Садится возле печи вся белая, руки на подоле крестом. И я застыл, ноги ослабли. Голову повесил. Слушаем, как по ступенькам деревяшка Егорыча: стук! Переставил живую ногу, подтянул протез — стук!

Уже в сенях. Распахивает двери. Пот у него по лицу. Дышит, притулясь у косяка. Переступил. Поздоровался. Ответил я, но сидя. Встать не могу. А мать лишь слюну проглотила, сама в черный потолок глаза возвела, на Бога надеется.

Бригадир примостился возле меня, деревяшка длинная накось вдоль скамьи, вторая нога в заляпанном сапоге ищет, ищет себе места — а делается все молча, одно сопение в передых.

Егорыч вздохнул поглубже в последний раз, уперся затылком в стену, прикрыл глаза и тихо произнес:

— Беда-а. Беда, Александра Павловна.

И заполнилась наша изба невыразимо тихим ужасом. Долгая, как день, текла минута.

Мама заплакала. Я сжался. Поглядел на сестренку: за печь прячутся, безгласые, что-то понижают, значит.

— Никто не видел, Егор Егорыч, — простонала мать, — неужели...

— Видели. Видел Кипрюха. А это конец. Напишет. Он не может не написать, ему природа его поганая не написать не позволит.

— Умолю его, в ноги брошусь, землю есть буду, пусть сирот пожалеет, что делать, не знаю-у!

Заплакали сестры, бросились к ней, она их голочки обхватила.

— Мы никогда не брали, — сказал я.

— Знаю. Поэтому и пришел.

— Господи-и! За что?! Петенька! Где ты, защитник наш, где-е?! Явись! Ах, Петя-Петя-Петя, — закачалась мать, и с ней сестренки прижатые, прилепленные, раскачиваются, а мама совсем чужим голосом повторяет имя нашего отца: причитает по убитому.

О том, что отец убит, на деревне знали мать, почтальон, Егор Егорыч и я. Больше никто ничего не слышал. Так зимой велел бригадир. «Вдову, — объяснил он, — любое начальство или кто не побоится обидят, а солдатку — нет. Терпи, баба». — «А сколько терпеть?» — спросила тогда мама оледеневшим голосом. «Долго. До победы. Окончательной то есть. Все».

Так мама и терпела. И я был уверен — это не на всю жизнь, а только до победы. Ничего еще не понимал...

— Вот что, — решительно и сердито прервал причитания и плач моих сестренок бригадир, — вот что! Добавь света, вырви листок и пиши! Садись, Павловна, и пиши письмо Петру Елисеевичу.

— Что такое говоришь, Егор? Что ты говоришь? Где он — Елисеевич? Куда письмо посылать будем? Ох, батюшки-и... Умереть хочу!

— А я говорю — пиши!.. — Тут Егор Егорыч крепко ругнулся, чем немного и привел в чувство мою орущую мать.

Письмо написали утром:

«Дорогой Петенька. Кланяется низко твоя верная жена Александра и дети Вася, Сима, Шура. Мы здоровы. У нас все хорошо. У Васи отметки хорошие. Не беспокойся. Траву на удворине выкосили нахорошо, как ты и наказывал в последнем письме. Здоровье хорошее. Едим хорошо. Пиши, как ты, и береги себя. Это главное. Посылаем тебе холста на портянки, принесла тетя Маня. Спасибо ей. И они здоровы. Еще посылаем кiset. А в нем не табак, а жареная рожь. Как ты любил. Остаемся в ожидании и надежде. Целуем. Шура уже хорошо говорит.

Твои родные Александра и дети».

Через десять дней маму вызвали на станцию. К уполномоченному товарищу Сибакотулину.

Фамилия. Сибакотулин. Уполномоченный. Товарищ. «И под землей про него слух идет», — говорил Егорыч.

Она вернулась на шестой день. Ночью. Поцеловала девочек, поплакала, а мне сказала: «Помни, сынок, наш отец нам даже из-под земли помог. Спасибо ему». И тут же свалилась. Пешком добиралась.

Со временем насчет колосков вышло послабление, а там и совсем разрешили собирать, что мать и сестренки делали каждую осень. Даже, если не ошибаюсь, Шурке похвальную грамоту вручили от пионерской организации за колоски. Или Симке...

С годами, правда, Сима и Шура отстали от этого дела, стеснялись, смеялись, выросли, замуж их повывадали мы, Симку так за моего дружка Леньку Кирина, но мама каждую жатву ходила в поля, а я и после ее смерти долго еще находил в потайках разноцветные мешочки с припасенным зерном.

Вот сейчас и думаю: была бы жива мама, она бы со всех наших полей подобрала бы до колосочка.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Рассказ третий

До глубокой старости моя мама Александра Павловна не могла равнодушно смотреть на ситничек. В предпоследний вечер своей долгой жизни она мало уже что понимала, мерзла. Приехавшие срочно Шура и Сима обули ей валенки, поверх одеяла накинули полушубок.

— Мама, поела бы маленько, а? Давай я тебе яичко очищу, ты ведь любишь, мам... Колбаски нажую...

— Уже утро? Солнышко, да? Со-олнышко, — радостно глядя на лампочку, которая оказалась велика и выползала из рожка люстры на волю, — утречко, — уверяла мама детским голоском. Потом попросила: — Хлебца бы, с кипятком...

Ела свежие куски булки, подаваемые Шурой, запивала водой из рук Симы, просила еще и все выспрашивала:

— Где же вы, детки, булочки достали? Мягоньякая... Люди дали? Да? Люди добрые. Вот и дали.

Пожалели сирот. Храни их господь. Вот уж и спасибо, какое спасибо им. Добрые люди...

— Да, маманя, да-да, люди дали. — Моя жена Светлана закрыла лицо и выбежала из дому.

— Спаси-ибо им, — и глотала с кипятком без сахара. Отказалась пить сладкое.

Ночью спала, но так тихо, что мы нет-нет да и подходили, чтобы, пригнувшись, послушать дыхание.

Утром умерла. Когда настоящее солнышко вышло.

Симка поправила на подушке чистенькое лицо усопшей, Шура спрятала под ситцевый платок детское мятое ухо, и обе молча стали смотреть сбоку, присев на низкую скамеечку.

Я хотел было стряхнуть с одеяла белые крошки, но руки не слушались.

БУЛИ-БУЛИ

Рассказ четвертый

Мне велели по пути подвезти корреспондента. Председатель колхоза Шапкин поймал нас на весах, куда я загнал свой ЗИЛ, нагруженный зерном. «Когда, — наказал он, — с базы хлебопродуктов будешь вечером возвращаться, то у моста на городском берегу захватишь человека, он из газеты. Понял, нет? Нас описывать будет. В областной газете. Уже звонили. Понял, нет?» — «Да как я его узнаю, Алексей Иваныч? На нем плакат, что ли?» Тут даже Шапкин, который все на свете видел, знал и умел, задумался. Но ненадолго, а так. «Он с фотоаппаратом, поди. Понял, нет? Вали давай, нечего гадать».

И махнул единственной рукой. Левую он оставил на седьмой день наступления под Сталинградом. Я тронул грузовик и представил, как Алексей Иваныч все еще стоит возле колхозных весов и кричит мне вслед о брезенте: зерно наказывает накрыть, коли дождь застанет. Будто и без него не знаем.

Хорошо.

Сдал я зерно. Перехватил в столовке. Еду из города к новому мосту. Народу разного — кто зачем. Я высунулся, кричу: «Кто будет из газеты?» Отлепился от перил такой бородатый в кожанке, четырехглазый, но без фотоаппарата,

просто портфель в руке оттопыренный. Я ему изнутри дверь открыл. У него то ли сил мало было, то ли не знает, как в грузовиках ручки сделаны — кнопку надо дожимать. Садится. Молодой, гляжу, совсем. Но серьезный. Бывает.

— Я думал, «козла» пришлют, — сказанул он вместо «здравствуйте».

«Э-э, милоч, — думаю, — да у нас один старенький «газик» под парторгом, второй под Шапкинским, они их сутками по полям гоняют, успевай рессоры перебирать...»

Молчим. Он портфель на коленях бережет. Я наблюдаю, как по мосту, благо широкий, горожанки трусцой жир изгоняют. Утром ехал — тоже бегали. Ничего, значит, время есть и вес лишней.

Переваляли горб, стали скатываться, а здесь по осевой линии спортсмены друг за дружкой, одинаковые все, вроде инкубаторских, на роликах катят с лыжными палками, целая бригада тружеников. Потеют. Конечно, мост всех выдержит. Его, я слышал, танками испытывали. Крепкие мосты у нас строят.

За постом ГАИ мы выбрались на тракт, я подлил горячего, а кривобокий портфель от скачков норовит упасть в ноги. Корреспондент его тогда расщелкал, достает буханку белого. Запасливый, так надо понимать. Или в Африку собрался, там, я читал, последнее просо делят. Вертит он хлеб, куда положить, не знает. Я показал: на сиденье, мол, место надежное.

— Как у вас со снабжением? — допрашивает, а сам за ручку держится и глядит в горизонт руководящим взглядом. — Мед можно достать?

— Можно.

— В какую цену?

Совсем городской, соображаю, не скажет просто «сколько стоит».

— Как везде.

Опять молчим. А я вспоминаю светлой памяти старика Бадяева из нашей районной газеты. Он, бывало, в козловской чайной примет фронтную норму и пошел про все Америки чесать, такого наговорит, что сами американцы о себе вряд ли знают. А приедет: «Сознавайтесь, сколько гектаров засеяли!» Не верил сводкам, сам в поля ходил дедуля.

А с этим как-то неловко мне. Может, гадаю,

он больной матери едет мед доставать, а я про человека грубо думаю, басом на него гляжу. Хоть и устал я и с фарами еду, но поразговаривать надо. Все-таки гость.

– Вы зря хлеба-то взяли в городе, у нас в Сурковской пекарне куда лучше. Чистая пшеница.

– А я не кушать. Я для сравнения. Потом в городе хлебозавод навешу. Продернуть их надо. Не умеют печь, понимаете ли... Да и в булочной этой, где я хлеб приобретал, представляете, висит аншлаг: «Бросать хлеб – грех». Я пригласил заведующую и предложил снять.

– Продернули?

– Да понимать надо, товарищи дорогие: это же религиозная пропаганда! Так доживем, понимаете ли, что завтра напишут: «Хлеб – святое тело!» Соображаете?

– Насчет тела не уверен, а то что грех – это правда.

– Вы от политики далеки, в деревне живете, а в городе знаете сколько иностранцев? Зайдут в такую булочную, прочтут лозунг и подумают, что советские люди в Бога веруют.

– Неплохо бы иногда и Бога вспоминать... А иностранцы... У нас председатель говорит, мол, важнее всего, что мы сами про себя думаем.

– Это, с одной стороны, правильно. Только, с другой стороны, мы всегда о себе положительно думаем, хотя работу делаем плохо и поступаем антиобщественно. Тому наглядный пример: скармливают хлеб скоту – это безобразия, но спрашивается почему? Очень хлеб дешевый у нас...

Я слушаю внимательно и удивляюсь, сколько в одном человеке может быть разных людей. Совсем другое дело говорит юноша. Только много птичьих слов вставляет. А он тем временем продолжает так:

– Теперь возьмите такой аспект: испеки вкусный хлеб – его никто выбрасывать не станет. Согласны?

– Еще бы!

– Вот раньше на Руси...

А дальше то ли он сорвался, то ли на знакомую тему налез верхом – пошел шпарить, судя по всему, из книжек, о том, какой хлеб пекли в печах. Ржаной. А сейчас рожь почти не сеют, трудоемкий процесс по сравнению с пшени-

цей, да и почвы закислились, известь нужна, а ее руководители не возят. Безобразия. На всех фронтах народного производства. Обленилось население. Продернуть надо.

Словом, озабоченный и весь издерганный. Даже стало жалко, ей-богу.

Миновали Раменье. Здесь я напился из ручья. Пассажир не пьет. Мало ли, говорит, бактерии, и долго ли еще трястись.

Но ближе к дому я совсем подобрел. Чего, думаю, с парня взять, если ему пока еще всюду бактерии видятся. Может, он их тоже продернуть собирается. Мало ли!

У нас от Мишкиного Бора до усадьбы камняга, вот буханка все и прыгает. Я буханку за щиток переложил, а там, неволью поглядывая на нее, кое-что вспомнил и решился рассказать молодому корреспонденту. Да и в темноте лицо, как-то не стеснительно...

– Я, между прочим, белый хлеб увидел впервые, когда мне было одиннадцать лет. Взрослый, а как ситник выглядит – не знал. Но однажды повезло: на станции через ограду увидел, с телеги. Мы с Егорычем в телеге под сеном ночевали. Он бригадиром был у нас, сейчас уже помер. Проснулся я утром, а Егорыч уже сидит и курит. Я поднялся в рост, потянулся со сна и вижу через забор такое: шаркает от крыльца плотный мужик в синих галифе и тапочках на босу ногу, в синей же майке, щеки у него распышило, глаза узкие, смуглый сам. В руках чего-то. Остановился и зовет низким страшным голосом: «Инди-инди-инди». Я перепугался, подумал, он меня подзывает, мол, иди-иди сюда. Но он чуть боком так остановился и снова забубнил: «Инди-инди-инди». Я еще поглядел немного и спрятался.

После мне Егорыч сказал: «Это же сам товарищ уполномоченный Сибакотулин здесь живет. Ну, парень, и угораздило же нас в таком месте лошадь привязать...»

Уполномоченный, я видел, отрывал куски от чего-то круглого, желтого, в крапинках понизу, а сверху это круглое напоминало шляпку громадного боровика-переростка. Дядя отрывал и бросал куски от себя, но куда и зачем – за забором не видно.

Егорыч мне потом объяснил, что у того в руках и был-то самый настоящий белый хлеб, а кор-

мил он редкую птицу — индюшек. Про сибакотулинских индюшек, конечно, многие слышали, и я тоже, и надо же, не удалось их увидеть. Обидно было...

На том я и прервал рассказ или закончил — не знаю. Воспоминания увели меня в крутые заезды прошлых лет, когда этого корреспондента, пожалуй, и на свете не было. Так-так...

— Любопытно, правда? — спросил я, очнувшись. Больше из вежливости. Хотя, по-честному, от воспоминаний пришли совсем другие слова, которые в газетах не печатают. Тем более областных.

Мой пассажир чего-то поерзал, бородку поскреб и с тонкой улыбкой задает вопрос:

— Сами сочинили? Или кто-нибудь?

— Из нашей жизни. — Ох и обидно, сами знаете, когда не верят.

— Предположим... Но в любом случае ваш герой не должен говорить «инди-инди».

— Это кто же герой?! Уполномоченный? Да он в тылу с женщинами воевал! Герой!

— Не важно. Вы не понимаете, я о чем — эта птица, которую ваш персонаж кормил, называется «индейский петух», а в просторечии «индюшка». Теперь соображаете? Следовательно, ваш уполномоченный должен в тексте говорить «инде-инде» либо «индю-индю». Вы ухватили мою мысль?

— Ухватил. «Инде» или «индю».

— Правильно. По форме. А по содержанию ваша зарисовка несет негативную пропаганду.

— Вот этого не понял. Какую пропаганду?

— Ту, которую вы разводите...

Хотелось ляпнуть: «Индюк ты писучий, я хлеб развожу, а не пропаганду». Утерпел. А он не унижается.

— Мы, — это он мне разъясняет, — тут сейчас Нечерноземье поднимаем, а вы... Вас не одергивали?

Промолчал я. Да и об чем говорить? Едет с тобой современный уполномоченный, его жареный петух еще ни разу не клевал в одно место. Счастливый молодой человек, пока еще живущий только для примера. Не понимает он меня, и я никогда уже его не пойму. Что поде-лаешь?

— Приехали. Вон в той избе ночуют. Тетку Дарью спросите. Хлеб заберите. Пока.

Высадил. Газую. Сельсовет огнями распирает. Алексей Иваныч, видать, ночную смену механизаторов утрясает. Посигналил. Гляжу, высовывается.

— Привез?

— Так точно. Только чмурик без фотоаппарата, так что не надейтесь на героический портрет в газете.

— Кончай бабабошить. Какой он? Молодой? Старый?

— Строгий. Про одного себя «мы» говорит.

— Не выпросил, чего надо? Зачем к нам? — с тревогой допрашивает председатель.

Ну дела! Фашистов не боялся Шапкин, а шелупень всякую... Беда.

— В общем если, то он, Алексей Иваныч, прибыл поднимать Нечерноземье.

— Это хорошо. Не жалко. Если в общем. А в частности? Не узнал?

— А в частности — за медом.

— Замечательно. Сплавим на пасеку, пусть хоть вымажется. Теперь поезжай заправляться. Понял, нет?

Такие пироги.

Нет, я ничего против корреспондента не имею. Газету возьмешь, а в ней, бывает, и дело про нас пишут. Но в основном стараются подлатать. Или уж так расхвалят, что человек огородами ходит.

Да! А живых индюшек я впервые увидел на Кавказе, куда мы с женой Светой ездили в зимний санаторий. Большие такие, краснозобые, кормят их там кукурузой, а подзывают так: «Були-були-були».

Понял, нет?

И ПОЖЕНИЛИСЬ

Рассказ пятый

Началась эта хорошая история с одной поездки. Давно было. Сравнительно. Нас еще хотели тогда в совхоз переделать, но передумали. Председатель наш, я рассказывал о нем, Шапкин Алексей Иваныч, утром допрашивает: «До города доедешь?» Грузовичок у меня был — конечно. «Попробую». — «Манька пробовала, а че получилось? Двойня хулиганов, понял, нет? А ты обязан доехать, затарить в на-

ши мешки муку, выгрузить в Сурковской пекарне, а мешки домой все до одного». — «Я-то что, вот мотор, покрышки...» — «С утра и валя, а сейчас подтягивай чего и где надо. У счетовода бумаги возьми».

Забрезжило, я тронулся по осенней дорожке. Тут описания не требуются. Посадите за стол старого сельского шофера, он вам за стопкой под блины с рыжиками расскажет про наши дороги. В мужском обществе, женщинам разные некультурности ни к чему, пусть выйдут.

...А запустили Сурковскую пекарню недавно. Шуму! Всем ближним колхозам велели свои собственные прикрыть по соображениям гигиены и отсталости. Называлось: укрупнение на промышленной основе. Знамо, наша развалюха не чета Сурковской, да ведь хлеб придется развозить, люди-то едят круглый год, а не только зимой да летом, когда проехать можно. «Нам все известно, — сказали, по словам Алексея Иваныча, в районе, — мы уже наметили дороги строить в разные стороны». Ясно. Жди в обед через десять лет.

И сделался рейс в пекарню в нашем гараже вроде наказания. Но потом зима прошла, замечают, что я так и рвусь в Сурково. Председатель все в жизни правильно понимал и тут первым догадался. Останавливает маму и спрашивает: «Павловна, а не заикался как-нибудь Василий насчет женитьбы?» — «Бог с тобой, с чего ты, Иваныч, рано ему». Тогда он уточняет: «Гляди, не свели бы его со двора, а приметы есть. А?» — «Да он что, конь, что ли?» И здесь председатель вошел в подробности: «Конь, — говорит, — не конь, а жеребенок уже порядочный. Бди! Поняла, нет?»

Секретный разговор через полчаса стал известен на дальних фермах. Девахи забастовку сделали, меня постановили не замечать. За измену местным интересам.

Мать поздно вечером повела осаду.

- Как хоть зовут? — А сама в блюде смотрит.
- Света.
- Светлана... Чья будет?
- Сурковская.
- Родители кто?
- Не знаю.
- Вон как? Чего было у вас? — сурово спро-

сила, и чай в сторону. А сестры так носами и вертят.

— Да мы даже не разговаривали! Ты что?

Не соврал я. Приеду на пекарню, сижу молча, жду выпечки. А Света с подругами тесто месит, халаты у них нараспашку, старшая в чело формы заталкивает, жарится, но терплю.

Правда, в самый первый раз я к ним ухарем ввалился:

— А можно к вам? Здорово, красавицы!

— Сюда нельзя посторонним, заходите, здравствуйте.

— А кавалеры не требуются?!

— Девки! Кавалера занесло попутным ветром, выходите поглядеть, не испугайтесь только! — прокричала маленькая и с виду белобрысенная девчонка. А подол, должен заметить, у нее был подогнут выше колен.

Вышли тогда из жары еще две: первая постарше, другая высокая, красивая, грустная. Та, что постарше, велела: «Кавалер, уйди к дверям, в сапожищах-то...» Сами же сели на горячую скамеечку поодаль от меня, стали утираться полотенцами. Ждут. А та маленькая тесто, видать, только что отмесила, теперь деревянной скребницей край у чана обчищает, глазками постреливает. И вдруг орет мне:

— Ее Светкой зовут! — и вот хохотать.

Заметила, что я, как бычок, уставился на грустную девушку. Тут они спрашивают, мол, откуда хоть такой. А я мычу. Тарашусь. Никогда в жизни красивей не видел. Ни в кино, ни так — на ферме.

Почти, считай, полный год шаршился. Куда все пропадало? Ну там слова разные, и вообще. Насмешек принял — в мешки складывай: «жених-женишок», да хи-хи, да ха-ха. Сам стал забывать, что зовут меня Васей. Но упорно в любое время суток и года езжу за хлебом, вожу муку. Каких страстей в дорогах натерпелся — это ничто по сравнению с сердечным грузом. Мама и говорит: «Ну уж нет. Так больше нельзя. Сама пойду. Просто так, ради любопытства». Я брыкаться — она в кабину. Но дала слово молчать.

Прибыли. А ее и нет. Светлана, говорят, в город уехала на два дня, к отцу в больницу. Пригласили маму посидеть, отдохнуть. Сидим. И видим: белой мукой по черному над чело выведено — 28-45. На белой стене сажей —

те же цифры. Погрузились когда, старшая подает буханку, объясняет, что Света пекла для меня и просила передать. На горбушке пальцем выведено — 28-45. По тесту написала номер моей машины. Мы поняли — согласна.

Осенью, после работ, Алексею Ивановичу жена галстук повязала, шляпу он сам надел, и покатали они с мамой знакомиться с родителями невесты.

А дальше, известное дело, как положено.

Теперь вот старшего из армии ждем. Водителем боевой машины для пехоты. В гвардии, разумеется, — при его сложении: весь в деда Петра Елисеевича.

Что единогласно подтверждают все пенсионеры нашего колхоза «Борец».

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Рассказ шестой

Сима прошлой осенью рассказывала, сестра моя. Они в восемьдесят четвертом с мужем Леонидом и Петькой, племянником моим, плавали в отпуск по Волге. До Астрахани и обратно. Чудо, говорит, какой теплоход, обязательно сплавляйте, потому что наслаждение сплошное. Арбузы. Если осенью. Я и смеюсь. Кто же осенью отдыхает, если жатва и вообще. Да.

А случай, стало быть, у них такой... На теплоходе этом командовал вообще всеми туристами такой дядя с тремя помощниками. Один — методист. Чего он делает, Сима не поняла, а двое веселят народ, баянист и этот... ну, я забыл, как называют, вроде шута. Говорила Сима, но я не запомнил. А главный носит чин — начальник маршрута. Они, например, плывут, а он распоряжается, порядки наводит, мужикам, которые склонны, окончательно спиваться не дает, а также следит, чтобы туристы не возникали где не надо или, наоборот, не утонули где не положено. В перерывах он арбузы ест. А между обедами по радио рассказывает, какие берега, что за города, кто и зачем их основал. И куда трубы торчат, и почему затопили, и сколько тонн воды в каждом водохранилище. Многие, говорит Сима, восторгались — до чего человек дошел, все на свете знает! И какая глуби-

на, и для чего разные мосты. Очень образованный. Такой невероятно симпатичный тип, хотя и кривоногий, но не сразу заметно. Из железнодорожников, был слух. Выдающийся специалист по кадрам.

Плывут назад. За теплоходом чайки увязались. Вроде ворон да грачей на поле в сев — это мы видели. Сгрудились отдыхающие на корме и хлеб кидают птицам. Те на лету — цоп. Интересное занятие после обеда. И, на тебе, в самый разгар кормежки голос по радио: «Прекратить безобразие! А всем, кто хлеб кидал, немедленно зайти к начальнику маршрута и срочно извиниться за поведение!» Разбежались по каютам, перепугались, говорит Сима, да и стыдно.

Но одна женщина все-таки пошла, соседка по коридору, она-то как раз всего один кусочек бросила под общим впечатлением. Совежливая. В глазах слезы. Что и будет, думали. И — здравствуйте вам — весь разговор по радио слушают. Забыл выключить начальник.

«Это вы-ы!» — кричит. «Ох, не ругайте меня, пожалуйста, — и слышно, как заплакала, — я всего маленький кусочек. Но все равно извините». — «Да что вы расплакались, туристка, — успокаивает он, а все слушают, — вы поймите, нам хлеба не жалко, на хлеб наплевать, его у нас девать некуда. А вот чаек привлекать нельзя. Они на теплоход, простите, капают. Заграничный. Весь уделают, заразы, — не отмыть. Ясно? Идите. Вы свободны».

Сима говорит, женщина еще раз сказала «простите» и вышла.

И слышно было даже, как дверь щелкнула. Вот до чего там радио чуткое...

Еще бы, подумал я, техника.

1980 г.

ЖИЗНЕННО рассказ

*Как люди его знали —
он всегда спешил.*

Но в это майское утро Сергей Семенович Чендылов, нормировщик Межколхозстроя, он же начальник отдела труда и зарплаты, плановик и председатель месткома, носился по двору как лось. От конторы до гаражей и обратно, с заглядыванием в будку сторожа у ворот, где до восьми была диспетчерская, куда собирались все пять шоферов, они же экскаваторщики, бульдозеристы и вообще отвечают за всю технику. Надо сказать, в Межколхозстрое Бадаевского района каждый был за многих, если считать по штатам любой нормальной городской конторы. Взять Галину Харлампьевну: она все — и главный бухгалтер, и кассир, и жена председателя Ивана Ивановича. Сам председатель Иван Иваныч тоже за многих. За себя здесь только двое — механик и сторож. А кузнец Василий еще и сварщик, и паяльщик, и электрик.

Чендылов в очередной раз заглядывает в сторожку, нетерпеливо слушает, как Иван Иваныч распекает шоферов, сторожа и кузнеца. На одноглазом лице председателя все оттенки и виды вдохновения от собственной речи. Шоферы слушают позевывая, изредка то один, то другой выходит во двор к машинам, еще с вечера нагруженным фиброплитой и досками. Механик сидит рядом с начальником, заполняет путевки и молча не одобряет длинный разговор.

А пока Чендылов успеваает сбежать в контору, что в глухом углу возле кладбищенского ручья. Иван Иваныч закругляет свою речь, всем видно, с каким сожалением он это делает, потому что сейчас люди разъедутся и не с кем будет поговорить о предстоящих задачах. Напоследок он приступает к указаниям: кому куда ехать и чего везти. Хотя это всем и без него известно.

— А-па-машина-ам! — Иван Иваныч, как человек, проживший штатскую жизнь, любит команды.

Но тут в дверях вначале появляется наклоненная голова, а потом постепенно и весь проем заполняется редкой по ширине дамой по имени Гутя — она уборщица и завхоз. Лич-

ность, беспрепятственно перебивая начальство, сообщает:

— А вчера, — Гутя показывает на кладбище за ручьем, — обратно попойника понесли. Мрут попойники-от. Мрут.

— Как мухи! — почти весело встречает Чендылов. — А вот мы — хоть бы что! — После таких слов он колотит себя в худую грудь и восклицает: — Колокол!

Иван Иваныч впивается в него единственным глазом, второй он промокает чистым платком, спрашивает обиженно:

— Ты, Семеныч, умысленно мешаешь командовать или нарочно?! А?! А вы, — распаляется он, тыча рукой в уборщицу, — после оперативки зайдите ко мне в кабинет. И все!

— Ладно! — безмятежно обещает Гутя, освобождая проход.

Машины шумно по одной выползают за ворота. Иван Иваныч, Гутя, механик и Чендылов стоят кучкой до тех пор, пока не стихает совсем трудовой гул мотора в грузовике Лени Башарова. Молча решают, что машина уже свернула и углубилась в Марьин распадок. И сразу весь опустевший двор заполняется голосами мелких птиц — их тучи в кладбищенской роще.

Из распахнутого окна бухгалтерской комнаты высовывается белая рука, зычный голос почтенной Галины Харлампьевны зовет: «Иван Иваныч! Иди-ты-ка-ко-мне!»

Председатель медленно движется на зов. Сегодня дел у него до вечера никаких. Трудная весна, когда машины сутками блудили в бездорожье, когда все, кроме Гути и Галины Харлампьевны, ночевали как попало, кочуя с объекта на объект в дальних деревнях, где раскручивалась стройка на весь сухой сезон, — эта тяжкая пора позади. Теперь куда хочешь дороги. А на местах башковитые бригадиры. Ну а в других районных делах межсезонье: сев закончен давно, картошка посажена, сенокос не начался, начальство разбрелось и временно притихло. Да и ко всему сегодня суббота. Значит, завтра — воскресенье. Хорошо.

Чендылов увязался было за Иван Иванычем, но тут же отстал, вспомнив про Гутю. Он резво обогнул штабель досок и заговорил еще в пути:

— Гляди, Августа, чего и покажу...

— Да видела я, Семеныч, видела.

— Ты чего видела, чего видела-то? Ты пенсионную книжку видела, так? — Чендылов шустро шарил по карманам, и казалось, достанет сейчас грудку шуршащих бумаг, однако его рука непривычно держала плоские красные корочки.

— Вот, — протянул он Гуте.

— Чего это?

— А ты не спрашивай. Бери, бери, не бойся, это разрешено.

— Чего разрешено? — Гутя не решалась взять документ.

— Показывать разрешено, поняла? Раскрывай и гляди.

Гутя двумя пальцами взяла корочки, понесла к глазам. Чендылов не утерпел, выхватил, распахнул документ, стал объяснять:

— Это мне как инвалиду войны дали в районкомате. Пора, говорят, понимаете ли, пора вам, товарищ Чендылов...

— Погоди, Семеныч... Так это ж на нее тебе должны в магазине без очереди давать, — сообщила Гутя.

— Опять магазины. Можно подумать, на свете одни магазины. А билеты? А в эту, как ее...

— В баню? — подсказала Гутя.

— Я в баню, Гутя, не хожу, — отрезал пенсионер. — Я в государственную не хожу, у меня своя имеется. — Тут Сергей Семеныч показал рукой через забор на дорогу, там среди россыпи домиков был и его собственный. Как у всех в Межколхозстрое. Кроме Гутя. Она имела однокомнатную в каменуге за рекой, там был центр, и его жители уверяли всех, что Бадаево — город. Так и Гутя считалась горожанкой и барыней — ни воды носить, ни дровами топить.

Разговор о бане отвлек их от основной темы. Гутя ждала — чего еще скажет Чендылов. Он ждал — о чем спросит она. Потоптались.

Гутя взяла ведро и пошла в контору. Там она первым делом заглянула в бухгалтерию и в третий раз поздоровалась с Галиной Харлампьевной. Рассказала про красную книжку Чендылова. Хозяйка откликнулась, что знает — через них все документы как-никак идут, так что нет ли чего другого новенького...

— А? — и уставилась на Гутю выжидательно.

Гутя подумала-подумала и стала врать, будто у них в городе автобус не туда зарулил вечером...

— Пьяный был водитель. Понятно. Нет борь-

бы, — отсекала Галина Харлампьевна.

Дальнейший их разговор неизвестен, но можно предположить, что беседа шла о пьяных шоферах в частности и о борьбе с мужчинами вообще...

А Чендылов заглянул в сторожку. Молчаливый механик о чем-то думал, и Семеныч не стал ему мешать, тем более с таким человеком не говоришь — молчит. Молчит и саркастически глядит в сторону — что бы ему ни говорили.

Тогда Чендылов решил пойти в контору на свое законное рабочее место. Там он принялся за составление лимитной карты на новый свинарник. Работал Семеныч, как и ходил, очень быстро. Щелкал, писал, крутил ручку со звоном и снова ровными рядами заполнял синие линованные листы. Глянул на часы — двенадцать! Заглядывал Иван Иванович. Голову сунул, но ничего не сказал. Пора обедать.

Гутя давно закончила уборку и заснула в складе на телогрейках. Председатель направился домой, куда жена час назад ушла разогревать обед, оставив свою бухгалтерию незапертой. А там касса. Хотя и пустая, но... «Нет памяти у нее», — в который раз убеждается Чендылов, запирая дверь своим ключом. В этой конторе какие-то такие вставлены замки, что у всех ключи подходят. Приди с улицы грабитель — все откроет. Другой вопрос — грабителей нет и воровать тут нечего, хотя председатель нет-нет да и ругает сторожа за полную потерю бдительности. «У нас, кроме чернил да стульев, и взять нечего...» — Чендылов направлялся мимо собаки, спящей в тени распахнутой воротницы, в зеленый магазин при дороге.

Магазин сельского типа. В таких бывает всего понемногу и ничего. Но шоферы его любят за удобное у дороги расположение. Чендылов с интересом прочел хорошо известное ему объявление на дверях, написанное синим карандашом: «Потерялся кот Брыся, лапки беленькие, просим сообщить. И грудка беленькая. А сам черный».

— Не нашлся, значит? Катерине Федоровне! — войдя в темноватое помещение, стиснутое прилавком, поздоровался Чендылов.

И внезапно вспомнил про книжку.

— Прошу отоварить согласно предписанию и накладным, — сказал строго и что-то показал в руке, чего — продавщица не разобрала. Крас-

ненькое вроде. Катерина Федоровна бдительно оглядела покупателя, даже перегнулась маленько через весы — трезвый.

— Ты чего это, Семеныч?

— Прошу выдать — как положено — за наличные одну бутылку главного государственного продукта! — И подмигнул: все у нас, мол, путем.

— Так-так... — задумалась продавщица, потому что Чендылиха не далее как вчера брала бутылку. Неужто выпил? Да не-ет. Он ведь не питух, а самостоятельный мужик. Егозлив, правда, да ведь не всем быть сиднями. Сосед он хороший. Поможет во всем: хоть в избе, хоть во дворе. Чего ни попроси. От этих мыслей Катерине Федоровне захотелось домой.

Сосед книжку свою успел убрать. Теперь ждал. Молчал и глядел на Катерину. Тихо так сказал:

— Ты не горюй особо-то. Найдется твой котяра. Куда денется...

— А задавали?

— Задавали бы — принесли.

— Это свои, а чужие?

— Тебе наши шофера любого привезут из города, когда за цементом поедут. Там этих котов — любого бери. Да в городе, можно сказать, теперь одни кошки да собаки бегают, людей и не видно — все на заводе.

— Да кто их кормит?

— Людей-то? Государство. А кошек и собак там и кормить не надо, в городе все тротуары белым хлебом усыпаны, даже печенье попадает и пироги. Я подбирал-подбирал, а потом не стал. Много.

— А зачем подбирал? Куда тебе?

— Да не себе я, а на траву с дороги, чтобы не топтали — грех.

— Откуда и берется?

— Хлеб-то? В городе как! Не успел пожрать — на смену, вот и кидают остатки на ходу. А?

— Шутник ты, Семеныч. Вроде я в городе не была, — Катерина Федоровна обтирала бутылку чистой тряпкой. Хотела что-то сказать, но хлопнули дверью. Приняла деньги, выдала сдачу. Чендылов ободряюще кивнул и вышел.

Бутылку он засунул в карман штанов, дорогой она тяжело и размашисто болталась почти у колена. Собака уже проснулась и теперь поглядела на него очень и очень внимательно. Чендылов даже оглянулся.

— Ты чего, Карай? — спросил громко.

Пес хотя и молчал, но глаза его спрашивали: «В магазин мотался, шкилет. А мне чего-нибудь?»

«Гутя принесет, — оправдывался в уме Чендылов, — откормили борова, спит, не тьякнет...» Семеныч очень скоро очутился в кузне, где был и механик. Газету хотели постелить на железный верстак, но механик молча вынес из своего закутка персональный стол, сваренный из уголков, столешница у него набрана из вагонки, а сверху деревоплита. Чендылов подтащил скамью, на которой по вечерам помещаются все пять шоферов. Кузнец вышел под солнце за своим железным стулом. Прежде чем войти в помещение, он задрал голову и сказал: «Погода сегодня лётная». Зимой кузнец летал в Печору женить сына, там просидел без погоды шесть дней и теперь считается большим специалистом в авиации. Славный человек этот кузнец: он готов слушать любого, о чем бы тот ни говорил. И поддакнет, и улыбнется, и удивится, и засмеется.

А механик все молчит, словно обет принял. Так если скажет два-три слова, и то с усмешкой. За что Галина Харлампьевна считает его циником. Если верить Гуте, так и говорит: «Он циник». Не при всех, конечно, а то за такую матерщину и схлопотать можно. Так?

Налили. Выпили. Закусили. Хорошо.

Через полчаса со стороны кузни аж до конторы доносится звончайший тенорок Чендылова:

— А давайте рассмотрим, к примеру, минное поле!.. Ползешь и думаешь — ахнет или не ахнет?

— Ну? — спрашивает кузнец.

— Ахнула! Прыгающая мина!

— Тебя только такая и возьмет, — веско говорит механик.

— Очнулся в госпитале — нет челюсти! Потом и началось: профессора за профессорами, а один и спрашивает...

— Не отвлекайся, Семеныч, — просит кузнец, — ты про ребро давай.

— Вынул он у меня ребро и вставил, так что у всех тут челюсть, а у меня ребро. Показать?

— Видели сто раз. Нечего отключивать, — гудит механик, — ты наливай, Адам.

— Я — Адам?!

— Ребя, тише. Семеныч, не обижайся. — И куз-

нец наливает, а своим же черным пальцем вминает в краюху ржаного плавленый сырок — для Чендылова.

— Да ты хоть книжку мою видел? — Чендылов принимает закуску, свободной рукой сует механику красные корочки.

Тот видел, но берет, однако не смотрит, а просто кладет на стол.

— А тебе по какое число ее выдали? — Кузнец спрашивает между прочим, но вопрос оказывается столь неожиданным, что все трое в молчании смотрят друг на друга, потом на книжку.

— В любом документе, — развивает свежую мысль кузнец, — всегда пишется «выдано по...»! Согласен?

— Не «выдано», а «действительно по...», — уточняет механик и раскрывает книжку. Трое склоняются над ней и сопят. И в самом деле — после фамилии и всего, чего надо, имеется строка «действителен по...», а потом длинное место для записи. У Чендылова на этом месте записано чернилами: «ЖИЗНЕННО».

— Пожизненно...

В эту минуту подходит пообедавший председатель. Иван Иванович еще в трех шагах показывает свернутой газетой: «И не наливайте, и не буду». Затем присаживается и выпивает. Кузнец сует ему книжку, чугунным ногтем подчеркивает строчку, где «пожизненно».

— Теперь всем так выдают. Положено, — объявляет председатель.

Кузнец и механик обижаются за Чендылова. Сам он тоже обижается, забирает книжку и прячет. «У самих нет, вот и...» — говорит он в потолок.

— Но в целом это положительное явление, — продолжает председатель, показывая глазами на газету, — если пенсионеры вроде нас продолжают оставаться на трудовом посту. Очень положительное.

Механик демонстративно кривит губы и глядит через дверь в сторону кладбища. Он считается в оппозиции к председателю. Так считается уже двадцать один год, со дня основания Межколхозстроя. Весной и осенью при обсуждении мероприятий механик на общем собрании тихо грозит: «Мы напишем, мы знаем — куда напишем». И многозначительно шуруется в лицо Иван Ивановичу. Весь коллектив ждет, когда он

куда-то напишет. Куда — он знает. Ждут этого двадцать один год все, кроме шофера Лени Башарова, он единственный, кто работает здесь не с первого дня, а всего пятнадцать лет и три месяца. После очередной угрозы механика председатель с неделю томится. Но жена его успокаивает и убеждает не бояться этого циника...

— Очень положительное явление, — долбит председатель, наблюдая, как Чендылов поровну разливает остаток. Иван Иванович хоть и крив, но глазомер у него чапаевский. Чендылов хочет рассказать про мину, но его не собираются слушать. Спрашивают ехидно про магазин для ветеранов, про то, ходил ли и много ли дали костей по удостоверению? Чендылов удивляется — откуда известно про кости? Дали пять кило — считай, мешок. Жена спросила: «Куда нам, Сережа?» — «А макароны?» — сразил он ее, выложив две пачки макарон особого сорта. «Так ведь ты их в жизни не едал, а я тем более. Из-за чего мучился, за реку таскался», — жалела его старуха. «Ничего, — ершился он, — обещали колбасы, как только с базы привезут — сколько хошь!» Так что насчет костей он сейчас отмалчивается и старается перевести разговор на производство.

Начинают обсуждать текущие дела — начальник и кузнец, они мастера. Иван Иванович напоминает кузнецу, что, мол, пора бы и каркасы сваривать.

— Вари! Загибай! — кричит кузнец, — а полоску привезли?!

Председатель смотрит на механика. Наступает тишина. Чендылов и кузнец тоже в молчании глядят на механика. Дело в том, что ему на фронте осколком отсекло большую половину указательного пальца. И с тех пор механик заимел привычку в минуту задумчивости крутить в носу оставшимся обрубок. Эта в общем-то невинная игра повергает в изумление всех. Людям кажется, будто в носу у него весь палец, ну и думают: «Как же так? Нос — маленький, палец — огромный, а почти весь поместился...»

— Вынь культю из ноздри — говорить невозможно, — строго выговаривает председатель.

Но говорить уже все равно невозможно. Сидят. Молчат.

— Пожизненно, значит, — меланхолически произносит кузнец.

Но механик поднимает руку и настораживает-

ся всем телом. Он чутко прислушивается, на лице можно прочесть поочередно: ожидание, сомнение, уверенность, удовлетворение.

– Ленька Башаров, – сообщает он.

Слушают звук дальнего мотора. Он! Ленька Башаров едет.

– Больно рано, – недовольно удивляется председатель.

Он идет к воротам во главе компании, и к ним успевает присоединиться проснувшаяся Гутя.

Въезжает Ленька Башаров. Спрашивают, где остальные машины? Не струсил ли чего в дороге? Почему рановато? Выясняется, что остальные едут следом и сейчас будут, что ничего не случилось, а рано потому, что сегодня суббота, а у него, у Башарова, день рождения.

Чендылов заподпрыгивал вокруг машины, заглянул с трех сторон в кузов, словно там по случаю дня рождения должны быть не бревна, а что-то необыкновенное.

Вскоре подтянулись и остальные. Гутя полетела в магазин.

Чендылова отвез в кабине именинник и сдал старухе по акту уже в девятом часу. Она скоренько накормила их горячими щами. Ленька поехал, а хозяин стал рваться в баню.

– Куда? На ночь глядя – куда? – спрашивала

Чендылиха, разбирая постель, – гляди вон телевизор или спать давай ложись.

– Жизненно! – только и отвечал ей муж.

Телевизор он слушать не стал. В постель тоже не лег. А сел к столу и еще поел щец. Поостывших, правда.

Весной совсем светлые ночи. Соседка Чендыловых, Катерина из магазина, сидела возле распахнутого окошка и слушала, как поет на крыльце Сергей Семенович:

– Вы-ы-ха-а-дии-ла на-а берег Катюша-а...

А голос – соловьи слушают.

1980 г.

□

Александр РУЛЁВ-ХАЧАТРЯН –

поэт, драматург, прозаик, переводчик.

Член Союза писателей России.

Впервые появился на страницах журнала «Север» в 1966 году.

Автор книг: «Трое у костра»,

«В году триста шестьдесят пять дней»,

«Семь чудес света», «Повесть временных лет» и др.

В числе наиболее известных произведений –

«Хроника семьи Петровых», «У нас на Выселках»,

«Повесть временных лет» –

памфлет политической сатиры наших дней,

комедия «Роковая черта».

Книги переведены на многие европейские языки.

Живет и работает в Вологодской области.

